**"Больше поле битвы, чем человек"**

**Русские религиозные мыслители об авторе "Так говорил Заратустра"**

Людмила Гоготишвили

Пожалуй, никому не удалось взбудоражить русскую философию начала века так, как это сделал Фридрих Ницше. Споры о нем велись преимущественно в религиозной области; это "точка кипения" в русской "тяжбе о Ницше". Однако затем, постепенно внутри религиозно ориентированной дискуссии стало формироваться и оригинальное собственно научное гуманитарное направление, методика которого генетически увязывалась в том числе и с идеями Ницше.

Поскольку случилось так, что развитие русской религиозной философии было насильственно прервано на долгие десятилетия, то с ней были выведены из "легального обращения" и споры о Ницше. Связанное же с его идеями научное направление превратилось, уже почти сформировавшись, в подземную реку, явно не видимую, но все же улавливаемую чутким гуманитарным слухом. Хотя этой подземной реке и удавалось иногда пробиться на поверхность и она частично влилась в наше гуманитарное мышление, но почти без всякой осознанной связи с идеями базельского "профессора".

Так время ли сейчас, после столь длительного "глухого перерыва", выносить "итоговые" оценки и высказывать "взвешенные" суждения о взаимоотношениях русской философии и филологии с Ницше? Не лучше ли вернуться к эпицентру религиозной дискуссии и прислушаться к живым голосам ее активных участников, зафиксировав затем и связанный с нею момент зарождения оригинального гуманитарного метода? С любого места культурной истории, если начать в него вкапываться, начинается, по словам Александра Викторовича Михайлова, безбрежность смысла, а значит, мы так или иначе расслышим здесь и отзвук тревожащих нас сегодня проблем.

Представленная в подборке рецепция идей Ницше русскими религиозными философами носит на себе, конечно, отпечаток времени и не является ни "единственно возможной", ни тем более "единственно верной". Более того, предлагаемый коллаж является в некотором смысле искусственным, поскольку он составлен (по причине жестких требований газетного объема) без соблюдения хронологических и контекстуальных границ: "как бы" цельные высказывания зачастую смонтированы из текстуально и временно отдаленных друг от друга фрагментов, а иногда - и из разных статей или книг одного автора (эти текстуальные разрывы и внутрисинтаксические "стяжения" никак не отмечаются). Тем не менее весь предлагаемый текст состоит из прямых цитат. Немногочисленные же вставки "не прямо авторских" слов, введенные ради синтаксической связности, даются в угловых скобках.

Андрей Белый: Касаясь Ницше, я прохожу молча мимо самих творений; вот справедливый упрек мне! Надо же показать в самом деле структуру его идей - разобрать идеологию.

И я отказываюсь. Повторять общие места об индивидуализме, имморализме, аморализме, морализме, а также оживлять в памяти все прочие "измы", указывать на влияние Вагнера, Шопенгауэра, качать головой при упоминании об имени Канта и, наконец, вытаскивать архив по вопросу о ссоре Ницше с Вагнером - все это известно мало-мальски интеллигентному человеку из дешевеньких компиляций... А находить в ницшеанской идеологии все новые и новые стороны - на это у меня нет бессовестности; это значит приурочить колоссальное здание, им воздвигнутое, к тому или иному животрепещущему вопросу.

Обычно идут совершенно другим путем. Не слушают <Ницше> в "себе самих", читая, не читают, обдумывают, куда бы его скорей запихать, в какую бы рубрику отнести его необычное слово; и - рубрика готова: только Ницше в ней вовсе не умещается. Тогда поступают весьма просто и решительно. Обходя и исключая противоречия (весь Ницше извне - противоречие), не стараясь вскрыть основу этих противоречий или вскрывая ее не там, легко и просто обстругивают Ницше: и ветвистое дерево его системы глядит на нас как плоская доска; затем проделывают с доской решительно все: или ее выкидывают, или сжигают, или прилаживают к домашним своим потребностям, или же заставляют молиться на деревянный идол - деревянное ницшеанство, деревянная борьба с Ницше.

Так поступают все идеологи, все популяризаторы: плоская доска из общих суждений о свободе личности, о предрассудках морали... и эту-то сухую древесину навязали широкой публике как заправское ницшеанство! И мы закапываем Ницше насильно заколоченного в гроб, не подозревая, что живой он - не мертвый.

О коварный популяризатор! Я отказываюсь к нему присоединиться: не излагаю философское "credo" Ницше.

Алексей Лосев: Наступившая в ХIХ в. эпоха расцвета классической филологии была по преимуществу эпохой, отстранявшей себя от всякого обобщенного взгляда на античность. В течение десятилетий считалось зазорным и недопустимым столь невероятное верхоглядство и фантастика, чтобы говорить об античности вообще. Под влиянием ограниченных и узких философских теорий ученые хотели всецело погрузиться в собирание и коллекционирование фактов и в нахождение их фактической же закономерности. Фридрих Ницше, будучи сам академическим филологом, прорвал наконец плотину и дал удивительную концепцию античности, оплодотворившую к детальным филологическим разысканиям Э.Роде, Вячеслава Иванова и др. Университетская наука в лице заносчивого Виламовица-фон-Меллендорфа не замедлила открыть огонь по гениальной интуиции Ницше.

Свое замечательное учение Ницше выразил в книге "Рождение трагедии из духа музыки". Здесь он видит два основных начала, формирующих эллинский дух, - аполлинизм и дионисийство. Аполлон - бог всех сил, творящих образами. Аполлинизм - это полное чувство меры, самоограничения, свобода от диких порывов, мудрый покой бога - творца образов. Как один из видов этого чувства меры Аполлону свойствен "принцип индивидуации". Религия Диониса противоположна аполлинизму. Вместо успокоительной стройности и мерности аполлинийских созерцаний здесь мы находим сомнение в них. "Чудовищный ужас, который охватывает человека, когда он усомнится в формах познаваемых явлений" <Ницше>, характерен для дионисических состояний. Но вслед за этим дионисизм теряет и то отъединение, которое существует между человеком и окружающим его миром. Человек тут переживает восторг и блаженство самозабвения и выхода из размеренного и узаконенного мира, когда наступает нарушение "принципа индивидуации": "...просыпаются те дионисические чувствования, в подъеме которых субъективное исчезает до полного самозабвения... Бывают люди, которые от недостаточной опытности или вследствие своей тупости с насмешкой или сожалением отворачиваются, в сознании своего собственного здоровья, от подобных явлений, считая их "народным болезнями"; бедные, они и не подозревают, какая трупья бледность лежит на этом пресловутом здоровье, как призрачно оно выглядит, когда мимо него вихрем проносится пламенная жизнь дионисических безумцев. Теперь раб - свободный человек, теперь разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и "дерзкой модой". В пении и пляске являет себя человек сочленом высокой общины; он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси... в человеке звучит нечто надприродное; он чувствует себя богом... Человек уже больше не художник, он сам стал художественным произведением". <Ницше>.

Греческий дух есть эти две стихии, их борьба и их соединение. Гомер - преобладание Аполлона. С Архилоха начинается более самостоятельная дионисийская стихия; тут основа органического сращения начал аполлинийского и дионисийского. Наивысший же синтез дионисийства и аполлинизма содержится в аттической трагедии. Трагедия возникает как аполлинийское зацветание дионисийского экстаза и музыки. Дионис не может существовать без Аполлона: "На основании всего нами познанного мы должны представлять себе греческую трагедию как дионисический хор, который все снова разряжается аполлоновским миром образов". <Ницше>

Однако есть одна сторона в концепции Ницше, которая делает ее слишком современной нам и слишком действительно модернизирующей древность. Аполлон и Дионис Ницше несут на себе печать новоевропейского мироощущения, от которой их, правда, легко можно освободить. Их природа существенно романтическая. Тут слишком много нервов, энергии, "воли", слишком много блужданий, исканий, безысходной тоски, напряжения, неопределенности. Античность спокойнее, беспрерывнее, сосредоточеннее, определеннее, телеснее, ограниченнее. Надо понять Диониса и Аполлона "классически", а не романтически - и тогда завоевание Ницше станет на совершенно твердую почву. Останется целиком вся характеристика Аполлона и Диониса, но сразу переменится культурно-исторический коэффициент.

Вячеслав Иванов: Эллинская душа нашла самое себя только с обретением Диониса. Дионисийство одно дало эллинству то, что впервые сделало его эллинством: маску. Прежде маски возлагались на лица усопших и оберегали их облик в царстве теней: Дионис живых научил надевать маски и терять свой облик. Тогда мир был понят как драма превращений. Тогда политеизм в принципе уже был преодолен: божество осознано как многоликое единство. Бога страдающего извечная жертва и восстание вечное - такова религиозная идея Дионисова оргиазма. "Сын божий", преемник отчего престола, растерзанный Титанами в колыбели времен, он же в лике "героя" - богочеловек, во времени родившийся от земной матери, "новый Дионис", таинственное явление которого было единственным возможным чаянием эллина - вот столь родственный нашему религиозному миропониманию бог античных философем и теологем. Непосредственно доступна и близка нам мистика Дионисова богопочитания. Она вмещает Диониса жертву, Диониса воскресшего, Диониса утешителя.

Ницше возвратил миру Диониса - и отшатнулся от Диониса. Ницше почти не разглядел <в нем> бога, претерпевающего страдание. Он знал восторги оргийности, но не знал плача и стенаний страстнуго служения. Страшно видеть, что только в пору своего уже наступающего душевного омрачения Ницше прозревает в Дионисе бога страдающего вне и вопреки всей связи своего законченного и проповеданного учения. В одном письме он называет себя "распятым Дионисом". Это запоздалое и нечаянное признание родства между дионисийством и так ожесточенно отвергаемым дотоле христианством потрясает душу, подобно звонкому голосу тютчевского жаворонка, неожиданному и ужасному, как смех безумия, - в ненастный и темный, поздний час.

Дионис, "зажигатель порывов", равно низводит "правое безумствование", как говорили древние, и неистовство болезненное. "Правое безумствование" тем отличается от неправого и гибельного, что оно не парализует, напротив, усиливает спасительную и творческую способность и потребность идеальной объективации внутренних переживаний. Дионисийский экстаз разрешается в аполлинийское видение. Эта объективация - этический принцип культуры. В случаях <же> "неправого" безумствования душа не истекает наружу, не творит, но не может и выдержать заключенной, запертой в ней силы. Она разбивается; конечное безумие - ее единственная участь.

Ницше думал, что религия возникла из неправой объективации всего лучшего и сильнейшего, что почуял и сознал в себе человек. Это принципиальное отрицание религиозного творчества замкнуло его душу в себе самой и ее разрушило. Напрасно он прибегал к последней казавшейся ему возможною объективации своего "я" в Сверхчеловеке: его Сверхчеловек - только сверхсубъект. В учении о "Сверхчеловеке", преподанном из уст "дионисийского" Заратустры, роковая двойственность в отношении Ницше к Дионису созревает до кризиса и разрешается определенным поворотом к антидионисийскому полюсу, завершающимся конечною выработкою учения о "воле к могуществу". Ничто не может быть более противным дионисийскому духу, как выведение порыва к сверхчеловеческому из воли к могуществу: дионисийское могущество чудесно и безлично - могущество, по Ницше, механистически-вещественно и эгоистически-насильственно.

Трагическая вина Ницше в том, что он не уверовал в бога, которого сам открыл миру. Он понял дионисийское начало как эстетическое и жизнь - как "эстетический феномен". Но то начало прежде всего - начало религиозное.

Николай Бердяев: Дионисийское веяние прошло по России. Эрос решительно преобладает над Логосом.

Вячеслав Иванов: В России Дионис <как болезненное "неправое" безумие> опасен: ему легко явиться у нас гибельною силою, неистовством только разрушительным.

Василий Розанов: Ницше почтили потому, что он был немец и притом страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя заговорил в духе "падающего еще толкни" - его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать.

Приятно стоять "выше морали" и на просьбы кредиторов по-наполеоновски размахнуться и гордо ответить: "Не плачэ". Но окаянно, когда мне не платят; а за "ближними" есть должишки. Перебиваюсь, жду. Не знаю, как выйти из положения. Не обращаться же к приставу, хоть и подумываю (философия Ницше).

Николай Бердяев: Рядом с Ницше может быть поставлен лишь столь отличный от него и столь похожий на него Достоевский.

Вячеслав Иванов: В "Бесах" мы связаны с целым миром. Достаточно указать на то, что Ницше вышел из "Бесов".

Василий Розанов: Когда я впервые узнал об имени Ницше, то я удивился: "да это Леонтьев, без всякой перемены". Иногда сравнивают Ницше с Достоевским; но где же родство эллиниста Ницше, "свирепого", с автором "Бедных людей" и "Униженных и оскорбленных"? Во всяком случае, здесь аналогия не до конца доходит. Напротив, с Леонтьевым она именно до последней точки доходит: Леонтьев имел неслыханную дерзость выразиться принципиально против коренного, самого главного начала, Христом принесенного на землю: против кротости. Леонтьев сознательно, гордо, дерзко и богохульно сказал, что он не хочет кротости и что земля не нуждается в ней, ибо кротость эта ведет к духовному мещанству, из этой "любви" и "прощения" вытекает "эгалитарный процесс", при котором все становятся курицами - либералами, не эстетичными Плюшкиными... Леонтьев был plus Nitzsche que Nitzsche mкme; у того его антиморализм, антихристианство все же были лишь краткой идейкой, некоторой литературной вещицей, только помазавшей по губам европейского человечества.

Дмитрий Мережсковский: Почему же Ницше не узнал Христа? Откуда этот ужас, откуда эта ненависть ко Христу, которая заставила Ницше объявить себя "антихристом"? Помогло бы ответить на этот вопрос явление более страшное, чем Ницше. Это явление - Василий Розанов.

Василий Розанов: Отчего идеи мои произвели... на Мережковского впечатление трагического, и он сказал: "Это, как у Ницше, - конец или, во всяком случае, страшная опасность для христианства". Почему? у меня все построено на <"семье" и "роде">. Удивительна все-таки непроницательность нашей критики. Я добр или по крайней мере совершенно незлобен. Все статьи обо мне начинаются определениями: "демонизм в Р.". И ищут, ищут. Я читаю: просто ничего не понимаю. "Это - не я". С Ницше - никакого сходства! С Леонтьевым - никакого же. Я только люблю его. Но "сходство" и люблю - разное. Да, мне многое пришло на ум, чего раньше никому не приходило, в том числе и Ницще, и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей (точек зрения, узора мысленной ткани) я считаю себя первым. Но сюда я выведен был своим "положением", да и пришли именно мысли, а это - не я сам. Я - добрый и малый. Вот я такой "мальчик с неутертым носом" - "все открывший".

Андрей Белый: Забавно, что процесс усвоения Ницше в своих расстроенных желудках выдают за освоение Ницше. Он диаметрально противоположен тем, которые довольствуются раскраской всего окружающего нас. Ницше - изысканнейший стилист; но свои утонченные определения прилагает он к столь великим событиям внутренней жизни, что изысканность стиля его начинает казаться простотой. Ницше честен, прост в своей изощренности. И только в оперении сказывается в нас родство с Ницше. Мы утыкались райскими перьями, отняв их у того, кто умел летать; на наших перьях не полетишь.

Владимир Соловьев: В теперешних идейных увлечениях не одна, а три очередные модные идеи: экономический материализм, отвлеченный морализм и демонизм "сверхчеловека". Из этих трех идей, связанных с тремя крупными именами (К.Маркса, Л.Толстого и Фр. Ницше), первая обращена на текущее и насущное, вторая захватывает отчасти и завтрашний день, а третья связана с тем, что выступит послезавтра и далее. Я считаю ее самой интересной из трех.

Всякое заблуждение, о котором стоит говорить, содержит в себе несомненную истину и есть лишь более или менее глубокое искажение этой истины; ею оно держится, ею привлекательно, ею опасно и через нее же только может быть окончательно опровергнуто. Я хочу не разбирать ницшеанство с философской или исторической точки зрения, а лишь применить к нему первое условие истинной критики: показать главный принцип разбираемого умственного явления - насколько это возможно - с хорошей стороны.

Дурная сторона ницшеанства бросается в глаза: презрение к слабому и больному человечеству, языческий взгляд на силу и красоту, присвоение себе заранее какого-то исключительного сверхчеловеческого значения... В чем же та истина, которою оно сильно и привлекательно для живой души?

Все дело в том, как мы произносим слово "сверхчеловек". Звучит в нем голос ограниченного и пустого притязания или голос глубокого самосознания, открытого для лучших возможностей и предваряющего бесконечную будущность? Человеку естественно хотеть быть лучше и больше, чем он есть в действительности, ему естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека. Внутренний рост человека в своем действительном начале не создается историей, и <для него> не требуется никакой новой сверхчеловеческой формы организма, потому что форма человеческая может беспредельно совершенствоваться и внутренне и наружно, оставаясь при этом тою же: она способна по своему первообразу стать орудием и носителем всего, к чему только можно стремиться, - способна стать формою совершенного всеединства или божества.

Если бы даже и не вставал в нашем воспоминании образ подлинного "сверхчеловека" <Христа>, действительного победителя смерти (а не слишком ли это была бы большая забывчивость с нашей стороны?), или если бы даже этот образ был так затемнен и запутан разными наслоениями, что уже не мог бы ничего сказать нашему сознанию (почему же бы, однако, нам не прояснить его?), то, во всяком случае, есть сверхчеловеческий путь, которым шли, идут и будут идти многие на благо всех.

И если старая традиционная форма сверхчеловеческой идеи, окаменевшая в школьных умах, заслонила для множества людей живую сущность самой этой идеи и привела к ее забвению - к забвению человеком его истинного, высокого назначения, к примирению его с участью прочих тварей, то не следует ли радоваться уже и простому факту, что это малодушное примирение с действительностью приходит к концу, что раздаются, хотя бы и голословные пока, заявления: "я сверхчеловек", "мы сверхчеловеки". Такие заявления, сначала возбуждающие досаду, в сущности должны радовать уже потому, что они открывают возможность интересного разговора, чего никак нельзя сказать о некоторых иных точках зрения. В ту пору, когда я резал пиявок и зоолога Геккеля предпочитал философу Гегелю, мой отец рассказал мне однажды анекдот о том, как "отсталый" московский купец сразил "передового" естественника, обращавшего его в дарвинизм. Это учение <тогда> понималось как существенное приравнение человека к прочим животным. Наговорив очень много на эту тему, передовой просветитель спрашивает слушателя: Понял? - Понял. - Что ж скажешь? - Да что сказать? Ежели, значит, я - пес и ты, значит, пес, так у пса со псом какой же будет разговор?

Ныне благодаря Ницше "передовые" люди заявляют себя, напротив, так, что с ними логически возможен и требуется серьезный разговор - и притом о делах сверхчеловеческих.

Николай Бердяев: Неполнота христианского религиозного сознания привела к страданиям нового человека, новым страданиям, неведомым старине. Таким новым страдальческим опытом была жизнь богоискателей, жизнь Ницше, жизнь лучших из революционеров и лучших из декадентов. Кризис гуманистической антропологии завершился в Ницше - величайшем явлении новой истории. Ницше - искупительная жертва за грехи новых времен, жертва гуманистического сознания. После Ницше гуманизм уже невозможен, навеки преодолен. "Заратустра" - величайшая человеческая книга без благодати. То, что выше "Заратустры", то было по благодати свыше. "Заратустра" - творение покинутого, предоставленного себе человека. И никогда человек, предоставленный собственным силам, не поднимался выше. Через Ницше новое человечество переходит от безбожного гуманизма к гуманизму божественному. Ненависть Заратустры к человеку, изобретшему счастье, есть священная ненависть к унизительной лжи гуманизма. Заратустра проповедует творчество, а не счастье, он зовет к подъему на горы, а не к блаженству на равнине. Он проклял добрых и справедливых за то, что они ненавидят творящих. Муку Ницше мы должны разделить, она насквозь религиозна. Ницше - предтеча новой религиозной антропологии.

Семен Франк: Величайшая заслуга Ницше заключается в том, что в его лице человеческая мысль пришла к отчетливому сознанию несовместимости обмирщенного понятия человека с гуманистическим культом человека. Несмотря на весь антирелигиозный пафос Ницше, его отказ от поклонения человеку в его эмпирическом, природном - или, как он сам выражался, "человеческом, слишком человеческом" - существе обнаруживает некоторое подлинно религиозное устремление его духа. В его лапидарной формуле - "человек есть нечто, что должно быть преодолено", - подведен итог внутреннему крушению профанного гуманизма и произнесен ему смертный приговор. В этой жуткой формуле содержится смутное прозрение, что человек в его чисто природном существе есть уклонение от некой высшей идеи человека.

Но эта забытая спасительная истина только смутно предносится Ницше и подвергается в его мысли страшному и жуткому искажению. Так как Ницше остался в плену у антирелигиозной тенденции профанного гуманизма, то идея "сверхчеловека" не могла быть обоснована иначе, чем биологически. Правильная, по существу, тенденция напомнить человеку об его высшем происхождении и назначении противоестественно оборачивается прославлением человека как животного высшей породы. В мире идей совершается роковое страшное событие: преодоление профанного гуманизма оказывается провозглашением бестиализма.

Еще совсем недавно эта странная и жуткая смесь гениальных духовных прозрений и бредовых моральных заблуждений могла казаться каким-то экзотическим цветком уединенной аристократической мысли; и быстро вошедшее в моду ницшеанство, казалось, должно было остаться сравнительно невинной для жизни умственной забавой снобистических кругов. В настоящее время все перепуталось; социал-демократы разговаривают о Боге, занимаются эстетикой, братаются с "мистическими анархистами", теряют веру в материализм и примиряют Маркса с Махом и Ницше. Теперь, после того как вульгаризованное ницшеанство легло в основу сперва доктрины германского милитаризма, а затем в противоестественном сочетании с демагогией и культом "массы" выродилось в теорию и практику национал-социализма, - теперь культ беспощадной жестокости, ужасы тоталитарной войны, истребления "низших" рас в газовых камерах показали, к чему реально приводит разложение гуманизма и его переход в бестиализм.

Михаил Бахтин: То, что фашисты сделали своим философом Ницше, - это, конечно, чепуха, это недоразумение, основанное только на крайнем извращении Ницше.

Андрей Белый: "Сверхчеловек" у Ницше - не антропологический тип, а художественный образ. Сам он неоднократно принимается возражать Дарвину и тем не менее пользуется Дарвином: но пользуется как случайно подобранной на пути хворостиной, чтобы нанести удар подвернувшемуся под ноги схоластику; нанести удар, отшвырнуть, обтерев при этом руки. Сомнительно видеть сверхчеловека в биологической личности, еще сомнительнее, чтобы это была коллективная личность человечества. Скорее это принцип, слово, логос или норма развития, разрисованная всеми яркими атрибутами личности.

Инстинкту <самосохранения> подчинил <Ницше> логическое мышление; он - философ алогизма. Но он понял невозможность проповеди алогизма в терминах теоретической философии. Вот почему не доказательство, а внушение полагает он в основу своего метода. Вот почему на творчестве, а не на теории базирует он свою систему. Ницше - художник, метод изложения Ницше имеет форму телеологического символизма.

Борис Пастернак: Человек реален и истинен, когда он занят делом, когда он ремесленник, крестьянин, или великий, незабываемо великий художник, или же ученый, творчески постигающий истину. Кое-кто из лидеров социал-демократии, с одной стороны, и Ницше - с другой стороны, стремились стать поэтами или композиторами и потерпели неудачу. Тогда они в ярости и отрицании начали потрясать мировые устои. В них нашла свое крайнее выражение нетворческая часть образованного европейского общества.

Его <Ницше> отрицание христианства само взято из Евангелия. Разве он не видит, из чего творит своего сверхчеловека? Таким слепым может быть только полный дилетант, дилетант во всем.

Андрей Белый: Откройте любое место из "Заратустры": оно будет ни с чем не сравнимо, но что-то в Евангелии ему откликнется. Сходство ли здесь противоположностей, противоположность ли сходства - не знаю... Только Христос и Ницше знали всю мощь и величие человека. Оба соединили кровь с вином, тяжесть с легкостью, иго с полетом. Бог умер для Ницше, старый Бог с длинной седой бородой не существует. Старый Бог превратился для Ницше в того ребенка, которого собирается родить его душа.

"Вы - боги", - объявляет нам Ницше и сходит с ума. "Я - бог", - восклицает Кириллов у Достоевского и застреливается. А мы стоим перед роковой, подступающей к сердцу тайной...

Лев Шестов: "Рождение трагедии" написано человеком, который много слышал и читал и который думал, что этого достаточно, чтобы все знать. Потом Ницше убедился, что не только на небе, но и на земле есть многое, о чем молчат даже самые умные и ученые книги. Когда Ницше выступил с формулой "по ту сторону добра и зла", в первую минуту мир содрогнулся от ужаса. Ницше разрывает, разбивает, испепеляет и обращает в ничто именно то, чем люди наиболее всего дорожили. Для Ницше молитва, равно как и Тот, к кому <обращают> молитвы, перестали существовать. Как молиться, когда никто тебя не слышит, как взывать к Богу, когда "знание" принесло нам "всеобщую и необходимую истину", что, как говорил Ницше, Бога убили? Добро, братская любовь - мы знаем теперь из опыта Ницше - не есть Бог. Ницше открыл путь. Нужно искать того, что выше сострадания и выше добра. Нужно искать Бога.

Признавал ли хоть один философ Бога? Повторяю и настаиваю: все философы равно спокойно жертвуют и живым человеком, и живым Богом в убеждении, что если есть наука, то больше ничего и не нужно.

Единственным исключением был Ницше. Когда он убедился, что нет Бога, им овладело такое безумное отчаяние, что, несмотря на его исключительное литературное дарование, ему до конца жизни так и не удалось адекватно рассказать, что сделали люди, убивши Бога. Но Ницше не услышали. По-прежнему все думают, что вовсе и не важно, есть ли Бог или нет Его. Достаточно, что Его до сих пор называют, но можно было бы без этого обойтись, можно было бы заменить Его такими словами, как natura, substantia и т. д.

Может быть, если бы Ницше воспитывался на Гегеле, он бы до конца своей жизни не заметил, что гегелевский бог есть только замаскированное безбожие. И только потому, что Шопенгауэр приучил его говорить правду о философском боге, ему дано было почувствовать, какое преступление совершили люди, обоготворив и создав культ общего понятия (или "идеального"). Мы только понемногу начинаем чувствовать, в какую бездну мы провалились. И по мере того, как обнаруживается действительность, растет ужас по поводу совершенного и совершающегося. Раны <Первой мировой войны> не залечатся - наоборот, раскроются с новой силой. И вновь замученные люди возопиют и вновь станут спрашивать, зачем убивали, зачем убивают Бога. Ницше сам говорит, что люди до сих пор не дали себе отчета в том, что сделали. Это - верно.

**\* \* \***

Рецепция идей Ницше в начале века вовсе не исчерпывалась, как мы уже говорили, религиозной дискуссией: изнутри нее постепенно высветилось и собственно научное гуманитарное течение - феноменологическая филология, генетически связанная с идеями Ницше (но, конечно, не только с ними). Ее представители увидели и стали изучать язык в органическом единстве с архетипическими формами сознания. Здесь многообразно (и совсем иным образом, чем, например, в структурализме) применялся бинарный принцип, заложенный в усмотренном Ницше противостоянии Аполлона и Диониса. На конкретно-историческом литературном материале здесь выявлялись и анализировались "нестандартные" принципы объединения бинарных оппозиционных начал в сложноорганизованные и концептуально новые для гуманитарного мышления единства, такие, как "мифологическое высказывание" Вячеслава Иванова, целостные языковые проявления эйдетической "логики противоречия" Лосева, карнавальная "серьезно-смеховая" концепция и теория двухголосого слова Бахтина. Как и в религиозной сфере, инициатором этого связанного по импульсу с идеями Ницше, но вполне оригинального научно-филологического течения стал Вячеслав Иванов, написавший в начале 20-х гг. академическую и аналитическую (в отличие от прежних, метафорических по стилю, статей о Ницше, цитировавшихся выше) монографию "Дионис и прадионисийство".

Вячеслав Иванов: Могучий импульс Ницше обратил меня к изучению религии Диониса. <Подчиненная> аналитическому заданию, книга представляет собой полный переплав и коренную переработку материала <прежних статей>, <выработку> метода исследования. Прежде всего <он> - филологический: критика и герменевтика в применении к памятникам слова, <но> историческим в не меньшей мере, чем филологическим, хочет быть наше исследование. Как первоначальный предлежит нашему изучению факт сознания. Поскольку наше внимание устремлено на истоки, мы должны делать из этих данных обратные заключения от позднейшего состояния к тому, какое им логически предполагается. Мы обнажаем в свидетельствах сознания из-под оболочки новейших культурных наслоений основное, простейшее и конкретнейшее содержание <архетипы>. Трудность и ответственность заключается в совлечении позднейших культурных наслоений, <в обнажении> их изначального ядра. Что это ядро есть, в том ручается консерватизм сферы религиозной эмоции, не меньший, чем внутренний консерватизм мифа, который, как это видел и Э.Роде, во всех своих разветвлениях и метаморфозах хранит свой морфологический принцип. Религиозно-историческая наличность сквозит и через <философему>. Поздняя философема оказывается старинной мифологемой: изменилась форма, тожественными остались и содержание, и психологическая окраска мысли. <Признать>, что философема раскрывает подлинный умозрительный смысл мифологемы, мы вправе лишь по выяснении несомненной исторической связи между той и другой. Прямое заключение от философемы, без посредства дидактической мифологемы, к фактам первоначального религиозного сознания - незаконно и недействительно. В попытке реконструкции древнейшей религии наиболее надежной базой служит обряд; он должен быть понят из потребностей, его вызвавших к жизни, и осмыслен как факт сознания; задача исследователя, предпринявшего реконструкцию, состоит в установлении и истолковании обряда. Мы должны критически обрабатывать миф, стремясь обнажить из-под наносов времени его первичную форму <прамиф>, почему и возможно говорить о "логике мифа". Центр тяжести переносим мы на внутреннюю логику развития. <Необходимо> начертать общую схему мифотворческой функции.